

© 2011 г.

Член-корр. РАН В.П. КОЗЛОВ

**РАЗГОВОР ДВУХ ИСТОРИКОВ
(Е.Н. КУШЕВА – Б.А. РОМАНОВ.
ПЕРЕПИСКА 1940 – 1957 годов)**

Два человека, почти ровесники века и друг друга, оба историки, мужчина и женщина на протяжении 17 лет вели по нынешним меркам интенсивную переписку в 1940 – 1957 гг.: в год в среднем по 25 писем друг к другу¹. Б.А. Романов – из Ленинграда, Е.Н. Кушева – из Москвы. У них – не то, чтобы общая историческая школа, но явно общий духовный настрой, правда, воспитанный разными жизненными обстоятельствами. Е.Н. Кушева, преданная ученица П.Г. Любимирова и С.Н. Чернова, интеллигентка, корни видения мира которой уходили в народническое мировоззрение, силою не пережитых, но наблюдавшихся судеб историков в 20–30-е годы, закрыла себя в кокон постоянной улыбки, приветливости, учтивости и деловитости, которая подчеркивалась строгим пробором волос ровно посередине головы даже в преклонном возрасте. И Б.А. Романов, ученик А.Е. Преснякова, блистательно начавший свой научный путь книгой “Россия в Маньчжурии” (1926 г.), затем в рамках “Академического дела” не понаслышке, а на себе испытавший судьбу историка на стройках Беломоро-Балтийского канала, потом постоянную угрозу быть высланным из города или уволенным с работы, но вопреки всему и после сложных испытаний оставшийся верным дореволюционным принципам понимания жизни и принципов изучения прошлого.

Два человека были влюблены не друг в друга, а в мир прошлого, вернее, в процесс его познания, вынужденные ощущать, а самое главное, переводить знание о нем сквозь переживаемую ими самими жизнь. Они прекрасно осознали, что в соответствии с мерилami этой жизни, торжествующими в большом государстве, являются предметами и объектами рассмотрения себя, своих поступков и своих размышлений не через телескоп прошлого, а через “мелкоскоп” настоящего.

Два человека в своей переписке явно заинтересованы друг в друге, в общении, и не только потому, что у них есть общий духовный настрой. Оба заинтересованы в получении первичной информации о том, что и как создается в цехах ленинградских и московских историков. Оба презрительно относятся к сплетням, а потому заинтересованы в обмене не только достоверной, но и доверительной информацией о делах в двух главных центрах советской исторической науки.

Два человека занимаются не просто общим делом. Говоря современным языком, они активные участники нескольких научных исторических проектов, размышляя, споря, соглашаясь с их выбранными и реализуемыми моделями.

Козлов Владимир Петрович – член-корреспондент РАН, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

¹ Разговор двух историков (Екатерина Николаевна Кушева – Борис Александрович Романов. Переписка 1940 – 1957 годов). Составитель В.М. Панях. СПб.: изд-во “Лики России”, 2010, 479 с.

Переписка Романова и Кушевой – это два пласта документальной информации – личный и научный. В ней начисто отсутствует, или пробивается лишь намеками третий пласт – видение современности, жизни, в которой они живут. Так и хочется ожидать, что вот-вот в очередном письме корреспондентов, скажем, 1949 г., мы что-то узнаем об их мнении о борьбе с “космополитизмом”, в мартовских и апрельских письмах 1953 и 1956 гг. – размышления о смерти И.В. Сталина или XX съезде КПСС. И – почти ни слова об этих эпохальных событиях, тем более о других, проистекавших из них, в переписке мы не встретим. Только лишь однажды в 1949 г. горько вскрикнет Романов: “сколько злобы накопилось над нами и, в сущности, чем скорее мы истребимся, тем лучше будет для страны” (с. 79). И только однажды в середине марта 1953 г. Кушева сурово-официально напишет своему корреспонденту: “В такой степени была выбита из колеи последними серьезными и тяжелыми событиями, что я до сих пор не отозвалась на Ваше письмо” (с. 287). И, что: упрекнем их за это, или все же это “оставим в уме”, памятуя, что еще с карамзинских времен и в пушкинском художественном воображении молчание, безмолвие в определенных ситуациях характеризует время иногда более точно и выразительнее, нежели какие-то другие действия и слова, в том числе в переписке. Это невообразимое в наше время романовско-кушевское безмолвие в их переписке о глобальных событиях в жизни страны, людей не просто образованных, но и еще по-настоящему интеллигентных, для нас является выдающимся документальным свидетельством мироощущения и мировосприятия советской действительности конца 40–50-х годов прошлого века со стороны определенной части советских историков, по большому счету – российской интеллигенции.

Вернемся, однако, к первым, очевидным пластам переписки двух ученых-историков.

Личностной пласт информации их переписки нельзя назвать полностью и всегда откровенным. Какой никакой, но все же администратор от исторической науки, вращаясь в кругу ее руководителей в Институте истории АН СССР, Кушева мила в письмах к своему корреспонденту. Протокольные вопросы о его здоровье, о благополучии его семьи, житейские советы по разрешению бытовых проблем, аккуратно рассыпаны в ее письмах, плавно и незаметно перетекая в их деловую часть. Письма Романова о своей личной жизни и личных переживаниях кажутся по-мужски более огрубленными и откровенными. Эtiquette, протокольности в них явно меньше. Но и он придерживается некоей вежливости, по сути тоже сложившегося в советском обществе полупубличного этикета, хотя и памятуя о доверительных отношениях своей корреспондентки с тогдашним главой советской исторической науки Б.Д. Грековым. Их жизненную важность и полезность для судьбы своих научных трудов он осознает отчетливо, а потому тоже лукавит перед своей корреспонденткой.

А причин, поводов для лукавства с той и другой стороны было более чем достаточно. И если в их основе и имелся личный интерес, то он был связан не с карьерным ростом и сопутствующими ему материальными благами, а исключительно с получением и публикацией научных знаний о прошлом.

Схимник Романов, повидавший многое, что, по счастью, не пришлось пережить его коллегам, был и оставался не столько бунтарем в советском историографическом социуме, сколько создателем некоего не подвластного советской идеологии исторического знания, продолжателем которого он хотел видеть в своих учениках. У него не все, но очень многое получилось. Книги “Люди и нравы Древней Руси”, “Очерки дипломатической истории русско-японской войны”, другие работы стали классикой не только советской, но и вообще отечественной историографии. Его ученики – два академика (А.А. Фурсенко, Б.В. Ананьич), один член-корреспондент (Р.Ш. Ганелин), два доктора наук – оказались достойными своих званий не формально, а по сути.

Беспартийная, мудрая Кушева, знавшая не все, но очень многое из того, как варилась на советской идеологической кухне историческая наука, своим принципом действий избрала тихую поддержку талантливых советских историков. Б.А. Романов и А.А. Зимин были в числе их первой десятки. В определенной степени ей было тяжелее,

чем ее корреспонденту. Бюрократия вообще, тем более в исторической науке, да еще в советские времена, когда не торжествовал принцип “ты – мне, я – тебе”, а господствовал механизм идеологического “мелкоскопа”, мгновенно создавала вокруг себя не коралловые рифы, а бетонные заграждения. Романовскими жизненными и научными принципами преодолеть такие заграждения было невозможно. Кушевой удавалось, не всегда, но и нередко ценой собственной научной карьеры и, как знать, может быть, ценой забвения собственных жизненных принципов.

Не уважать этих людей за их безмолвие, за их нарочитую общественную инфантильность мы просто не имеем права. Хотя бы потому, что они, если и не все, то очень многое понимали, и даже отдаленно не были похожи на некоторых из своих коллег, которые верили и в соответствии с этой верой были беспощадны к тем, кто не верил, которые наблюдали и, пусть не знали все, но о многом догадывались или многое вычисляли и понимали как историки.

Но не только в этом суть переписки Романова и Кушевой. Опубликованный комплекс их писем – это первостепенный источник по истории советской исторической науки, это документальная хроника научной жизни двух ведущих историко-исследовательских центров СССР, причем, в значительной степени хроника ее закулисных сторон и это документальный источник неофициального происхождения, в данном случае не дополняющий, а являющийся равнозначным с документальными источниками официального происхождения.

Этот источник очень многоаспектен. Прежде всего, он многолюден. В нем мы найдем свидетельства о характерах, поступках тогдашних и будущих известных историков: С.Н. Валке, С.Б. Веселовском, Б.Д. Грекове, Н.М. Дружинине, Е.М. Жукове, П.А. Зайончковском А.А. Зимине (особенно много), Д.С. Лихачеве, А.Г. Манькове, А.А. Новосельском, Б.А. Рыбакове, А.Л. Сидорове, И.И. Смирнове, Л.В. Черепнине, В.И. Шункове и многих других.

В переписке мы встречаем поразительные и, слава Богу, сегодня уже остающиеся в памяти только ученых-историков, свидетельства об условиях работы исследователей прошлого в 40–50-е годы XX в. Не будем говорить о сетованиях Романова по поводу доступа к архивам или книжному спецхрану во время его работы над монографией “Очерки дипломатической истории русско-японской войны”. Скажем только, что это был первый уровень экспертизы на марксистскую “пригодность” еще не существующей работы. Второй уровень – секторальная экспертиза уже написанного труда. Третий уровень – институтская экспертиза на ученом совете. Четвертый уровень – “перекрестная” экспертиза сторонних специалистов и организаций: юристов, экономистов, языковедов (в последнем случае – для трудов по истории древней Руси). Пятый уровень – это не обязательная, но все же существовавшая практика публичных “межинститутских” обсуждений исторических работ, а то и межведомственных. Шестой уровень – это ответственный редактор издания. Седьмой уровень – это редакционный совет издательства. Восьмой уровень – это издательский редактор книги. Девятый уровень – это главный редактор издательства. Десятый уровень – это собственно цензура (Главлит).

Не стоит думать, что выход книги в свет означал конец ее экспертизы. Все только начиналось и было более серьезно по своим возможным последствиям для его автора. Одиннадцатый уровень экспертизы был связан с публикацией рецензий на опубликованную книгу. Обычная и нормальная вещь, но в условиях советской историографической, а вернее, политической, ситуации отрицательная рецензия приводила к появлению еще не менее трех уровней ее оценки. Продолжая счет, скажем, что двенадцатый уровень – это публичное обсуждение работы научной общественностью, тринадцатый – постановка вопроса на парткоме и четырнадцатый – обязательное рассмотрение в институтской стенгазете.

В идеологическом государстве иного быть не могло. Каждый уровень экспертизы исторического труда был не только его проверкой на “марксистско-ленинскую пригодность” выводов, но и одновременно перепроверкой предшествующих проверок. Кушева, на долю которой пришлось в силу служебных обязанностей проходить почти по

всем ступенькам экспертизы академической исторической литературы 40–50-х годов XX в., посвященной российскому феодализму, была ее прекрасным знатоком и умудренным проходчиком. Но даже и она, привычная к препятствиям и их преодолению, иногда искала моральной поддержки. Например, в феврале 1954 г. в издательство была сдана документальная публикация “Крестьянская война под руководством Степана Разина”. Кушева пишет Романову: «Там его смотрит Подгорненская. Боюсь, что она придет в ужас от “правительственных” документов и что предстоят разговоры» (с. 340). И разве после этого не стоит удивляться тому, что именно в годы переписки Романова и Кушевой готовились и выходили в свет многотомные коллективные труды “История Москвы”, “История Ленинграда”, “Очерки истории СССР”, “История СССР” и др.

Они были не просто подчинены идеологии и политике, стремительно изменявшейся в это время. Они были выстраданы целыми сообществами историков. То была часть, подчас главная, их жизни и труда. Сегодня мы можем осуждать эти внешне монументальные произведения, но, вспомнив о многоступенчатой экспертизе их подготовки и издания, должны быть и снисходительными к их авторам.

Тем более, что параллельно с этой академической исторической беллетристикой или исторической политологией в советской исторической науке, если говорить о ее феодальной составляющей, существовало и реализовывало себя документальное направление – подготовка и издание документальных исторических источников. Разумеется, нет оснований прямо противопоставлять это направление советской исторической политологии средневековой Руси. Но нельзя не признать, что прикладная археография этого времени, связанная с подготовкой документальных публикаций по истории российского Средневековья, варясь в небольшом котле корпоративного сообщества, была в определенной мере свободна, дискурсивна и колюча, заставляя поеживаться даже официальные авторитеты, когда речь шла о выработке и реализации принципов подготовки фундаментальных документальных публикаций. Советская документальная археография Древней и Средневековой Руси времени переписки Романова и Кушевой – это в определенной мере оппозиция “историописательства” истории России, это самосомнение, самоопровержение написанного в престижных повествовательных исторических сочинениях. В определенной мере археография и “историописательство” этого времени – это две разные жизни советской исторической науки. В первой не то, чтобы разрешалось, но каким-то естественным образом допускалось публичное разномыслие, например, в комментировании документальных исторических источников, даже несмотря на частое сито многочисленных экспертиз. В ней разрешался публичный творческий поиск, споры, например, о принципах воспроизведения текста, подготовки научно-справочного аппарата в документальной публикации. Правда, в конце 50-х годов уже начал протираться прицел трехлинейки и на эту жизнь, когда во весь голос заговорили о “партийности археографии”. Он пока был нацелен на археографию истории советского общества и, не будь феодальных исторических авторитетов в то время, мог быть легко перенацелен и на публикации документальных источников периода феодализма. А их, как мы знаем, было немало. Напомним о некоторых, ставших по своему знаковыми в документальном освещении феодальной России, которыми и сегодня пользуются исследователи: “Правда русская”, “Судебники”, “Троицкая летопись” М.Д. Приселкова, “Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI веков”, “Грамоты Великого Новгорода и Пскова”, “Акты Северо-Восточной Руси” и еще не один десяток документальных публикаций. Сегодня об этих и других документальных публикациях с высоты современного знания и современных принципов познания, главными из которых являются свобода объяснения и доказательность, мы можем сказать немало критических слов. Но все же вспомним, что уже три поколения историков-феодалов работают по этим документальным публикациям.

Кстати говоря, переписка Романова и Кушевой – прекрасный источник по истории разработки методических принципов названных выше документальных публикаций, причем, ряд затрагиваемых в ней вопросов остается дискуссионным и по сей день. Чего стоит, например, вспыхнувшая между корреспондентами полемика по поводу принци-

пов издания “Духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XVI веков” (с. 166–170, 174–179 и др.).

Переписка Романова и Кушевой актуальна для нашего времени по нескольким причинам. В переписке они явные антагонисты в отношении создания коллективных обобщающих исторических трудов. Для Кушевой – это абсолютно нормальное явление, хотя она болезненно переживает, когда ее статья была слита со статьей другого автора в одном из коллективных сочинений. Для Романова коллективный исторический труд – это “фабрично-кухонный уклад производства” исторического знания, которому он противопоставляет “личное” произведение (с. 23). Наблюдая за тем, как его индивидуальное “я” в коллективных документальных публикациях превращается в обезличенное “мы”, Романов даже впадает в отчаяние, считая бесполезной и бесплодной свою работу, например, при комментировании Судебников (с. 272). Думается, что тут нужен какой-то срединный взгляд. Есть проблемы, которые никогда не под силу освоить одному историку. Их разрешение возможно только коллективом, работающим по единой программе и на основе единой методики. Результаты такой работы должны быть проверяемы. Но только индивидуальный историк может интерпретировать их в своем исследовании, не подчиняясь воле “авторитетов”, существующих и в наше время. Иначе говоря, обобщающий исторический труд – это своего рода “помочи”, когда историки восстанавливают конкретное сооружение прошлого, а не все то многообразие сооружений, которое существовало. Это значит, что коллективный исторический труд есть ничто иное как вспомогательное сооружение для его индивидуальных интерпретаций.

Переписка Романова и Кушевой – это диалог людей, влюбленных в свое ремесло, почти полностью поглощенных им. Тут нет даже и намека на какую-то выгоду. В ней только страсть познания прошлого несмотря на сетования на болезни, усталость, загруженность второстепенными делами, отсутствие творческого вдохновения. Страсть, сопровождавшаяся почти истязаниями себя, сомнениями. Но и награждавшаяся неожиданными находками и решениями. И, читая их переписку, невольно задумываешься над тем, насколько современный историк сохранил или утратил этот духовный настрой.

Несколько слов об археографической стороне документальной публикации. Она, к сожалению, вызывает критику своей нерациональностью в части комментирования. Речь идет, прежде всего, о комментировании персоналий. Понятно, что когда в переписке лица называются по инициалам имен и отчеств – тут необходимо не только их раскрытие, но и комментирование по фамилии. Однако составитель очень часто один и тот же комментарий о человеке использует при каждом его последующем упоминании. Так, о том, что И.А. Кудрявцев – член редколлегии журнала “Вопросы истории” мы узнаем трижды, что А.А. Зимин “научный сотрудник Института истории” – более 10 раз, что Б.Б. Кафенгауз “научный сотрудник Института истории” – не менее 5 раз и т.д. Подобных повторов можно было бы избежать расширенным именованным указателем. Повторяются не только именные комментарии, но и предметные. Складывается впечатление, что составитель публикации не рассчитывал на то, что книгу будут читать подряд, а лишь отдельные помещенные в ней письма. С другой стороны, составитель не счел возможным прокомментировать “неопознанные пробелы” переписки (например, упоминание о сборнике памяти погибшим в 1941–1945 гг. ленинградских историков, который, кажется, готовился, но не увидел света).

Несмотря на эти замечания подчеркнем, что исследователи истории советской исторической науки получили в свое распоряжение ценнейший источник, важный своим неофициальным происхождением, а значит, представляющий “в лицах” развитие отечественной историографии, прежде всего Средневековья в 40–50-х годов XX столетия.